

Александр Оберемок

СЛОВА И ЧИСЛА

СТИХИ



Белгород 2023

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)
О 13

Оберемок А.Н.
О 13 Слова и числа: стихи / А.Н. Оберемок. – Белгород: ИД «БелГУ»
НИУ «БелГУ», 2023. – 100 с.

ISBN 978-5-9571-3488-6

Поэтический сборник Александра Оберемка «Слова и числа» – третья книга автора. Современные мифы, живые слова и неотправленные письма формируют многомерное поэтическое пространство, в котором читателю предстоит встретиться со своими отражениями и двойниками.

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и техническом содействии Союза российских писателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)

ISBN 978-5-9571-3488-6

© Оберемок А.Н., 2023

От автора

Дорогие мои друзья, читатели!

В книге, которую вы держите в руках, я собрал стихотворения, написанные мною на протяжении последних лет после предшествовавшего долгого молчания, когда слова жили во мне замкнуто и служили мне только для того, чтобы отсчитывать моё внутреннее время и отмечать числа в его календарях. В какой-то момент эти календари внутреннего нелинейного времени начали выстраиваться в поэтические строки, а потом стихи стали обретать размер и форму строфа за строфой. Так родилась эта книга. Я разделил её на три тематические части, которые назвал «мифы», «слова» и «письма». Каждая из частей соответствует – очень условно, впрочем, – периодам человеческой жизни. Не биологическим, конечно, хотя возраст во многом определяет наше мироощущение. Так, в «мифах» отношения с прошлым символизирует личная мифология, а воспоминания и сны воспроизводятся в диалогах с вымышленными собеседниками. В «словах» повседневность, существующая по законам линейного внешнего времени, облекается в слова в попытке противостоять хаосу, энтропии окружающей действительности. Когда становится предельно ясно, что в мире, доступном нашему пониманию, конечны и личность, и любовь, и сама жизнь, и задаёшься вопросом – что останется? В третьей части слова складываются в письма без конкретного адресата – послания, брошенные в будущее и прошлое. Они замыкают временную петлю, возвращая к истокам, к началам, к словарям.

Я адресую эту книгу всем, кто готов затеряться на страницах в поисках своих двойников и отражений и не боится поймать брошенный встречный взгляд из призрачного сна. И всем, кто искренне любит поэтическое слово.

Благодарю за помощь и горячее участие Союз российских писателей.

Хочу выразить признательность всем, кто так или иначе участвовал в создании этой книги и помогал ценными советами.

Большое спасибо Полине Орынյанской за тёплые слова.

Отдельное спасибо жене и дочери за любовь и поддержку.

Александр Оберемок

С облаков вытирая пыль

Часто можно услышать, что поэт создаёт свой собственный мир. Я бы занудно назвала это утверждение некорректным. Поэты не создают – они открывают читателю то, что существует тысячи, а то и миллионы лет, и будет существовать после нас. Это особое свойство таланта – чувствовать, что время едино и неделимо, его нельзя разложить на полки прошлого, настоящего и будущего, оно всё целиком – здесь и сейчас, вне календарей:

так что теперь, с облаков вытирая пыль,
сквозь миллионы лун, миллионы миль
тянется к вечности дерево Иггдрасиль.

Нет, никто не намекает даже, что это исключительно сродни ясновидению, что это мистика чистой воды. Николай Рерих говорил: «Воображение – лишь следствие наблюдательности». Добавлю от себя – и жадного любопытства во всём и ко всему: психологии, философии, истории — и так дальше до бесконечности. Настоящий поэт – он, пожалуй, как губка: впитывает окружающий мир и транслирует собственную квинт-эссенцию мироздания. Именно собственную, ибо никакая другая никому не будет интересна. Потому что у каждого поэта своя таинственная дверца за старым холстом. И без него – поводыря и проводника – туда никто никогда не попадёт.

Александр Оберемок – умница. И стихи его умны и коварны, ибо забирают, уводят душу в мир вязкий

и зыбкий, такой, что по выходе из него теряешь ориентацию в пространстве – настолько переплетены реалии нынешние с абсолютной явью давних времён. Его стихи – мучительная сиеста, вынужденное физическое бездействие при всепоглощающей работе сознания, занятого бессмысленным поиском универсальных, спасительных истин. «Ленив и, словно ртуть, перетекаем»... Маркес и Сафон – вот первые сравнения, которые приходят на ум при погружении в эту поэзию.

Это не воздушная лирика. Это не пейзажные красоты со свирелями. Это близкая мне рефлексия, самоанализ, исследование тёмного в себе – ибо только из тьмы произрастает свет. Вот, пожалуй, подходящее: «В этой грязи на себя посмотри всерьёз».

При этом – что удивительно и что главное – в этой поэзии теней и отголосков, блуждающих огней живёт такая... захлёстывающая любовь к жизни. Сквозь жестковатую самоиронию, доходящую порой до юродства и отчаянного самобичевания, отчётливо различаешь понимание этого мира и приятие его. Что это, как не любовь?

*Полина Орынянская,
журналист, редактор, поэт*

мифы

массаракш!

каким бы ни был огнём согрет, каких бы ни жаждал вод,
но яшень, тополь и горний свет – вопросов никто не ждёт,
ищи, свищи соловьём, стократ судьбу-голытьбу кляня,
но где любимая, глупый брат, не спрашивай у меня.

я сам всего лишь послушный страж тех самых ворот зари,
хотя бунтующий массаракш сидит у меня внутри,
я должен эти врата стеречь, волынку тянуть за хвост,
держать в кавычках прямую речь

под рок путеводных звёзд.

садись к огню, наливай и пей тоску, беспокойный брат,
но есть условие – ты, Орфей, не должен смотреть назад,
забуди любовь, посмотри наверх,

там мечется звёздный рой,

там самый чистый идёт четверг.

но тянет землёй сырой.

фонарь

проснёшься ночью, выйдешь неодетый
на свежий воздух с мятой сигаретой,
подпрыгнешь, окунёшься в тайный сад,
где фата исключительно моргана,
где злой телец косит альдебараном,
поскольку стал немного глуховат,
на гончих псов с их неизбежным лаем,
и вдруг услышишь: «мы его теряем,
разряд».

потом стена с люминесцентной лампой,
кровать и простыня с квадратным штампом,
и принесёт бананы и хурму
условный друг. чтоб не смотреть на друга,
глаза закроешь – в этой кали-юге
захочется увидеть одному,
как худенькая девочка неспешно
проходит с фонарём из тьмы крошечной
во тьму.

к северу и к югу

в десять-одиннадцать лет я считал ворон,
слыл недотёпой и часто бывал смешон.
как-то из книги один озорной барон

выстрелил косточкой мне в молодую грудь.
семя раскрылось, мешало порой уснуть,
щерилось в сны, навевало сплошную жуть.

с этого времени грудь не болела, но
я подрастал, и со мною росло оно –
то ли зерно, то ли дьявольское пятно.

выползли ветви, а корни полезли вниз,
к северу тянется ясень, а к югу – тис,
в ветках – прыгучая белка, орёл и лис.

так что теперь, с облаков вытирая пыль,
сквозь миллионы лун, миллионы миль
тянется к вечности дерево Иггдрасиль.

лунный цирк

в глухой тоске осмотришься окрест
и вспомнишь место, лучшее из мест, –
с обратной стороны живой музыки,
вглядись туда – старинное кино,
где то, что будет, всё ещё темно,
где боль нема и радость безъязыка

смотри, там был уездный городок,
где лошади по мостовой цок-цок,
где пыльных лип развёрнутый пергамент,
там в детском зачарованном саду
меняли на упавшую звезду
бутылочный осколок – лунный камень

на площади стоял заезжий цирк –
верблюды фырк и клоуны кувырк,
прыг-скок с небес лихие акробаты,
а за билет на действо под шатром
расплачивались лунным серебром
и медяками летнего заката

смотри, покуда не вернёт луна
свой встречный взгляд из призрачного сна,
где память коротка, а век недолог,
смотри, смотри, как в небе голубом
заплачет бог и ангела крылом
сверкнёт на миг бутылочный осколок

пике

в мангровых джунглях волшебных строк,
где, горизонт вспоров,
мы признавали один цветок –
розу морских ветров,

где посреди океана слов –
реки, леса, холмы,
в этой державе сорвиголов
жили другие мы.

мальчики, дети, и как один
все – капитаны шхун,
что нам, дрейфующим в горах льдин,
вечноседой Нептун,

что нам, другим, не смотрящим на
будущих лет пике,
мальчик, сидящий у окна,
с вечным пером в руке

Гензель

бросай на землю не сор, не хлам, а хлебные крошки слов,
пока не скрылись во тьме Потсдам,

Ганновер и Дюссельдорф,
пока сестра на Октоберфест готовит свою стряпню,
а ведьма пряничный домик ест, не трогая малышню

бросай, вернётся тебе добром, за слово дадут строку,
на ус мотая, в лесу сыром считай, прибавляй ку-ку,
заходишь в лес – попадаешь в вальд,

где братья наносят гримм,
иди вперёд, неуёмный скальд, отчаянный пилигрим

пока кружится дунайский вальс

и каждый второй – Шопен,
пока не требуют аусвайс под песни морских сирен,
пока хула не сожгла дотла – кончается сказка-ложь,
иди, покуда земля кругла, куда ты, дружок, уйдёшь

Оле Лукойе

выйдешь на улицу – слякоть, сплошная грязь,
худшей погоды не видывал отродясь,
выпьешь чего-то, желанию не противясь,
тут же подумаешь, мысли не пряча впрок,
наша свобода – дурной золотой телок,
чуть подрастёт и попросится сам на привязь.

в этой грязи на себя посмотри всерьёз –
делая ноги, по глине бредёт колосс,
не различая дорог, напрямик по лужам.
думаешь, господи, как же мне всё успеть,
только, пожалуйста, душу не винегреть,
если являешься, делаешь только хуже.

то ли кунсткамера, то ли живой музей,
хоть и скиталец, но явно не Одиссей –
напоминаешь себе Леопольда Блума.
боже, в начале ты выдохнул слово слов,
значит, в конце обязательно дашь число,
правда, число небольшое, пустую сумму:

медный обол и оплату за жэкаха,
стоило ли доводить до греха, ха-ха,
яблоко, змей-искуситель и всё такое.
ночью засмотришься в глухонемую тьму –
муторно, матерно там одному ему,
горе с тобою мне, Оле моё Лукойе.

бетельгейзе

человек к человеку пришёл говорит открой
я уже не могу ночевать на земле сырой
я продрался сквозь сумрачный лес и гнилую гать
я полжизни в бегах я устал ото всех бежать
догоняют враги не откроешь и мне каюк
человек человека послушал и дверь на крюк
у него сыновья и жена и белья бадья
у него именины и правда всегда своя

*

человек удивляется снится такая чушь
в подошедший трамвай забирается неуклюж
и садится и молча глядит в ледяную тьму
и гадает гадает к чему этот сон к чему
почему что осталось внутри то сидит внутри
а из слабой груди на полметра торчат штыри
почему за окном и на сердце полярный лёд
и трамвай альтаир бетельгейзе в депо идёт

* * *

animula vagula, blandula¹ —
не я ли тогда написал
пером светоносного ангела
по абрисам древних лекал,
не я ли губами бескровными
шептал то в бреду, то в ладу
про деву с тельцами и овнами
в космическом зоосаду?
не мне ли гармонь одинокая
бродячие песни поёт,
не мне ли беззубая чмокает,
зовёт у чугунных ворот,
а может, другая, унылая
бормочет томительный вздор?
да просто иголку с винила я
не снял и пластинку затёр,
и бродит по строчке, упрямая,
с окружностью накоротке,
блудница, живая душа моя
с заветной тетрадкой в руке

¹ Animula vagula, blandula (лат.) — душа, скиталица нежная. Первая строка автоэпитафии римского императора Адриана (24 января 76 г. — 10 июля 138 г.).

свидетели симулякра

понимаешь, времени правда нет,
пламенеет ясный вечерний свет,
маслянистый, липкий – потёки мёда,
не фотон, тем паче и не волна,
не физическая величина,
а в безумстве красок сама природа,

из живого шёлка двойная нить,
не мешало б Рембрандта расспросить,
как украл у бога его идею,
как пошёл на дерзкий прямой обман,
ведь такой искусный анжамбеман
удавался разве что Прометею.

так о чём я? старость. ах да, о вре-
мени, о господней искре, игре,
о земле под светом – гектаре, акре,
о словах, слагающих акrostих
из имён господних, имён седых,
о часах, свидетелях симулякра.

колдовского света, который я
воспевал, сияет сейчас струя
у Гомера над кораблями в море,
и блестит в подзорной трубе Петра,
и горит в окне у меня с утра,
отражаясь в облаке на Фаворе.

мне про это всё рассказал один
невысокий сгорбленный господин
(у него порой выпивали, ибо
хороши хоромы – чужой подвал),
он на рынке рифмами торговал,
только спросу нет, и не вышла прибыль,

а теперь не спросишь – пропал давно,
корабли ахейцев ушли на дно,
захирел в сарае петровский ялик,
на замках дома, на Фаворе тьма,
и моя кума – не поставь клейма,
да и сам я тоже хорош, но я ли

не мечтал о том, что нельзя сказать,
прорыдать, вобрать, записать в тетрадь,
о природе света ликуя всеу?
но теперь, в преддверии сентября,
на востоке красит холсты заря –
это Рембрандт кистью её рисует

маис

такого не видел нигде никто
на тысячи миль окрест
полковнику письма везут в авто
из самых далёких мест

правительство пишет ему как жаль
архивы давно гниют
вот пенсия вот за труды медаль
а вот громовой салют

зовут в гималаи даёт приют
его петуху тибет
с ямайки мария с хуаной шлют
привет и большой пакет

с канала панамского шлёт морпех
записку на три строки
о том что канал доконает всех
нельзя ли поднять полки

конверты кладёт почтальон под дверь
тихонько кляня судьбу
но некому письма принять теперь
полковник давно в гробу

и снится ему петушиный бой
и маркеса взгляд а из
груди пробиваясь на свет земной
растёт золотой маис

Адам

я подарил ему высокий рост,
густую гриву вьющихся волос,
ну, в общем, внешность полубога мачо.
я дал ему бессмертие, и вот
доволен сам – пусть сотни лет живёт,
рыбачит рыб и чудеса чудачит.
я поселил его в эдемский сад,
он бегал там – доволен, волосат,
его смешная жизнь меня бодрила,
я дал ему сбербанк и терминал,
вот только женщину ему не дал –
увы, дружок, но кончились чернила.

2

я теперь командир записных мочалок
и лахудр неформальный лидер,
ну а ту, что ты мне подарил сначала,
столько лет я уже не видел.
постепенно в мозгу ускоряя сдвиги,
я живу несказанно глупо.
интересно, какие читает книги
и какая там в тренде группа?
а пока неразумная жизнь тускнеет,
вполнакала гореть обиде.
не давай пересечься мне, боже, с нею,
не давай мне её увидеть.

морок

проходят годы, я стою у моря,
на острове в плену прекрасной нимфы,
и думаю опять о Телемаке
и о супруге, верной Пенелопе.
и если есть под небом Ойкумены
понятие о подлинной свободе,
то, видимо, его забыли боги,
а может быть, и никогда не знали.

моя зеленохолмная Итака,
далёкий край, любимый и желанный.
ещё горит огонь в твоих жилищах
и славен труд мужей, на бранном поле
погибших; никогда ты не увидишь
их лиц и не услышишь их рассказы,
как падали проклятия и копья
на головы троянцев жесткосердных.

печалюсь я. но странные виденья
ко мне всё чаще по ночам приходят:
как будто не встречался с Полифемом,
не слышал голоса Сирен, а Троя
на этом свете не существовала.
не отправлялись на войну ахейцы,
и не было любимой Пенелопы,
отца Лаэрта, сына Телемака.

и эти сны о благодной Итаке –
всего лишь сны, и нет зеленохолмной,
и не было, а остров и Калипсо –
постылый морок, эфемерный призрак.
да я и сам порою не уверен
в своём существовании. и грежу,
что жив лишь в песнях древнего поэта,
слепого сладкопевца и безумца.

одиссея

пришёл одиссей у ворот жена
собака корова мул
жена предложила ему вина
он выпил упал уснул

и снится герою в густом дыму
циклоп в дорогом пальто
ты кто говорит полифем ему
герой говорит никто

и видит опять одиссей во сне
калипсо в эстетском ню
да что это снится о боги мне
двенадцатый раз на дню

и вот одиссей открывает глаз
в чертаново у пивной
а там с арсеналом стоит аякс
и шепчет пора домой

апория

на бегу Ахиллес поправляет хитон,
у меня под ногами как будто гудрон,
надо мной непомерная глыба –
то ли камень Сизиф на меня уронил,
то ли мне не хватает физических сил,
то ли метафизических, ибо

мне Зеноном предписано – Зевсова мать! –
убегать, убегать, убегать, убегать
то в подъём, то по резкому склону.
у него-то хитон, у меня же – хитин,
он меня не догонит один на один
(если верить тому же Зенону).

надрываются эллины, громко вопят,
а за мной колесо ахиллесовых пят
высекает искрящийся щебень.
но богиня победы стоит впереди,
победителю приз у неё на груди –
именной черепаховый гребень.

Орфей

Ехал грека через реку...

Скороговорка

наши стоны – богам утеха,
говорил очень древний грек.
за женой через реку ехал
опечаленный человек.

ну куда ты, двуногий грека,
перевозишь бесхвостый зад,
много было таких от века,
но никто не пришёл назад.

и ответил мужчина – брось ты,
и стряхнул две клешни с руки,
и смотрели пустые звёзды,
как нескладная жизнь, горьки

ДОЖДЬ

жизнь как река, давай же, ныряй, плыви,
рыбу лови в любви или нелюбви,
выживет тот, кто вдоль берегов плывёт, –
так говорит товарищам Хитрый Пётр.

вздор, – добавляет вдруг Насреддин Ходжа, –
тянется поле жизни, где смерть – межа,
поле одно, межа у него одна.
площадь полей важнее, чем их длина.

нет, – рассуждает вслух Уленшпигель Тиль, –
жить – это в лампе масляной жечь фитиль,
трут догорает, свет порождает тьму, –
не возражает больше никто ему.

некто, который не различим впотьмах,
держит часы, струится песок в часах.
слушает некто, чуть наклонясь вперёд.
тучи сгустились. видимо, дождь пойдёт.

* * *

что любовь не во всём права, но, быть может, верно,
что молва — это лишь слова, а луна ущербна,
оттого она не родит ни тепла, ни света —
древнегреческий эрудит говорил про это.
и ещё говорил о том, что любовь даёт нам —
человек был рождён скотом и умрёт животным,
человеку, твердил, вовек не сойтись с другими,
многомудрым был древний грек, жаль, не помню имя.

это, может, придумал я, воробьи напели,
и не жил в те века, друзья, пресловутый эллин,
о любви не шутил никак, ни хитро, ни плоско,
и пером не водил, чудака, по табличке с воском,
или выброшен прахом в склеп и лежит недвижно,
а его повседневный хлеб — у меня на книжном.
книга судеб земных стара, но весьма занята,
это блик на воде.
игра.
световые пятна

лабух

что́ земные царства и что́ мне суть
и полвека вялотекущей жизни,
в тот момент, когда я хочу уснуть,
утомлённый, грузный и неподвижный?

умножает скорби гранит наук,
где следы зубов – молодых и слабых,
что мне знать ещё? оглянись вокруг –
там, во сне, играет небесный лабух.

исполняет смоки и шокин блу,
у него затасканный стратокастер,
а его потрёпанному крылу
не хватает перьев седых – несчастье,

выпадают – времени мерный ход, –
засыпают землю. звенит гитара.
и не видно глупому мне с высот
ни младенца в яслях, ни Бальтазара

* * *

вот улицы сиреневый размах
и зелень в фонарях у поворота,
дома, дворы, не разглядишь впотьмах
а дальше – что там?

а дальше, если разобрать слои,
закованные цепью хронотопа
Адам и Ева, сад Эдема и
вода потопа.

а дальше – ничего и никогда
не существует за пределом взгляда,
и только плуг и протоборозда,
земля разъята.

а дальше – тишь. до корня, до морфем,
до Слова, на ещё пустом мольберте –
пока не отделённая никем
вода от тверди,

пустая бездна, шип не вложен в паз,
где света тьма пока ещё не знала,
витают Дух недалеко от нас –
за три квартала,

а те, кому ещё названий нет,
живут в своей, в твоей не существуя,
вселенной, с ними лучезарный свет
и аллилуйя.

но что случается, когда во тьму
поднимешь руки, дерзок, но наивен,
и вдруг с небес по жесту твоему
нисходит ливень?

колыбель

на застрехе синица настырная, фью да фью,
говорит, пропою про слепую судьбу твою.
отвечаю, не надо судьбы никакой такой,
мне достаточно сада и домика над рекой,
чтобы горе своё горевать, зимовать и ждать,
что однажды вернётся мать.

на полене смола и в немытом углу метла
говорят, что ушла, только косы не расплела,
собралась за водой, улыбнулась в последний миг —
по течению камни, стволы, наносной плавник.
а под вечер порывистый ветер и лес опять,
сговорившись, давай стенать.

не шепчите, не плачьте, не пойте подлей и злей,
появляется месяц над иглами тополей,
на искрящийся снег, на мороз, на звериный след
выступает из тьмы подарившая этот свет.
поднимаются руки, бледна и измождена,
говорит, ворожит она:

не тебя ли кормила и пела про ай-лю-лю,
до рассвета качала сквозь ночь колыбель твою,
не тебя ли растила — крепись и терпи, мужик,
отчего ты молчишь, беспричастен и безъязык?
отчего не влекла, не тянула до дна, до сна
не сводила с ума луна?

продолжается старая песня на новый лад,
и летучие мыши во тьме чердака визжат,
на высоких горах, на семи ледяных ветрах
возвращается в лоно по кругу извечный прах,
и качается маятник – новая колыбель,
и метёт, и метёт метель.

ископаемый бог

И снится – ему под Рязанью при жизни поставили бюст – согласно людскому сказанью, он был краснобай-златоуст. Летят перелётные птицы, а к бюсту приходит народ, закусывает, веселится и песни блатные орёт. Шары запустили, литавры устроили переполох...

Проснувшись на альфе Центавра, вздохнул ископаемый бог и думает – что это было? Пардон, удивляется он, какая небесная сила послала навязчивый сон? Ужель откровение, знаки – сплести вековую нить? А может, взаправду, однако, такое чего сотворить? Спуститься на пару парсеков, достать из кладовки лохань, чудных налепить человек и как её... эту... Рязань...

...Хвостатые мечутся черти, дрожит херувимский народ.

И, твердь отделивши от тверди, он в мягкую глину плюёт.

Магриб

а он говорит: «послушай,
поедем в большой Магриб,
там птицы – живые души
когда-то погибших рыб,
там золото и алмазы,
там слово, сорвавшись с уст,
едва упадёт – и сразу
стихов вырастает куст».

и тьма за его спиною,
густая сырая тьма,
и в ней чередой сплошною
пустые стоят дома,
никто не живёт в деревне –
в округе мертвым-мертво...
но льются слова из древней
пернатой души его.

круги

а Иван повторяет, что жизнь – игра,
а потом добавляет: Санёк, пора,
мы в ближайшую вечность возьмём по пиву,
и уходит, раскачиваясь смешно,
уплывает в открывшееся окно,
растворяется золотом в реактиве,

где из облака инверсионный след
в запредельную даль отдаёт привет,
где со временем верно тускнеют лица,
цепенеют забытые языки...
но идут всю ночь от дождя круги,
и не ведаем мы, что ещё приснится

ануннаки

а за то, что записывал знаки
между строк в черновую тетрадь,
прилетят за тобой ануннаки,
соберутся тебя ануннать.

заведут персональное дело
и поднимут карающий меч,
за сердца, что хотел неумело
отглагольным причастием жечь.

да и чем при подобной подставе
оправдаешься ты, шалопут,
адвоката они предоставят,
и последнее слово дадут,

ну а после суда полевого
подведут под зазубренный нож...
ты озвучишь последнее слово,
только рифму уже не найдёшь

далее

а дальше будет хуже – мне сказала
Кассандра у московского вокзала.
толкали нас зениты-спартаки,
у них была ничья – вторая кряду,
совсем не так, как вышло в Илиаде,
а сквозь Кассандры путанные пряди
туманились бесцветные белки.

а дальше было хуже – Троя пала
в последнем эпизоде сериала,
тянувшегося десять лет, увы.
не говори, провидица, ни слова –
от одного вокзала до другого,
без выходного и без проездного,
на горизонте вспарываю швы,

но дальше – ничего. едва дотронусь
до сущности вещей – пирует Хронос
и смотрит, беспредельщик, свысока,
как я бегу – безумная собака,
которой сто кэмэ – не крюк, однако
моя гостеприимная Итака
по-прежнему всё так же далека

чёрный снег

имяреку каялся имярек,
что он видел во поле чёрный снег,
молчаливый вой на семи ветрах
и сухой слезы леденящий жаж.

а потом, волками окружена,
приходила с мёртвым зерном она,
прорастали всходы, давали плод –
то за ротой рота, за взводом взвод.

говорила: «дети, признайте мать,
я пойду на поле и стану жать.
вот в деснице серп, на плече коса».
по стерне ходила потом, боса,

и кричала долго, до хрипоты,
и зияла тьма из очей пустых,
и плясала курва до стёртых ног...
не узнали смерть, говорили – бог.

имярек покаялся и умолк,
и часы по-волчьи всё щёлк да щёлк.
а потом сказал: «я устал, ослаб,
мы плели венки из еловых лап».

лишний мир

заратустра сидит у огня и готовит грог,
а у ног золотистый барашек всё прыг да скок,
заратустра выходит на солнце, но видит тьму,
и звезда ослепляет больные глаза ему

на торговом пути чайхана, караван-сарай,
магомет предлагает шашлык, налетай давай,
позвоню, говорит, заратустре, халва сладка,
но легко разряжается сорок седьмой ака

иисус у воды колобродит туда-сюда,
он ловец человеков, но очень мутна вода,
не прикормлено место и сети видны едва,
человек не клюёт, а клюют караси, плотва

а над всеми покоится небо, где гладь и тишь,
а под небом живёт человек, пробегаетмышь,
разбредаются божии твари, им несть числа,
и никто никому не желает добра и зла

СЛОВА

НЕ ПОМНЮ

был карандаш. ещё тетрадь была
в забытом доме на краю села,
где опускались облака на крышу,
а я писал про дом и облака,
и возвращалась на круги строка,
и выходил из круга шишел-мышел.

была ноль пять из местного сельпо,
ещё трещал будильник ночью, по
которому я выходил на воздух.
там ветер целил мне в лицо и грудь,
и на ладонь садился отдохнуть,
и исчезал в непостижимых звёздах.

была кровать и шаткий табурет,
по мостовой шагал парад планет,
ведро гремело, вечность грохотала,
но стоило привстать из-за стола –
незавершённость сущего и мгла
терялись в разветвлениях фрактала.

бренчал амбивалентный карнавал,
под этот звон я напрочь забывал,
что надо забежать ещё в сельпо мне.
гудели так тревожно провода...
была ли рядом женщина тогда –
не помню.

слова

что останется, Расскажи мне,
кроме торной дороги зимней
и скрипучих во тьме саней,
кроме встречного ветра, кроме
ямщика на гнилой соломе,
кроме мелочной мзды моей –

обязательного обола.
изовьётся змеёю полоз,
проползёт за верстой верста,
и подумаешь – к очагу бы,
и прошепчут сухие губы:
«что останется, что оста...»

что останется? только имя,
незабытое меж своими,
обронённое вслух едва;
злое слово, пустое дело.
только слово корова съела,
да и дел-то – слова, слова

надо жить

*Мы однажды превратимся в тлен,
все кредиты времени истратив...*

Сергей Кодес

куда зовём и что пророчим,
да нам ли, скоморохам, знать,
но разливает авва отче
с небес густую благодать,
подставим чаши. но шутам ли
плести неведомую нить,
когда господь по-мандельштамы
нас обучает говорить.

куда спешим, не понимая
того, что некуда, ой-вей,
бежит дорога кольцевая,
кружится мёбиус-сабвей,
и потому вперёд иди ты,
тряхни главой, строфой, поэт,
раз время не даёт кредитов,
то значит тлена тоже нет.

куда теперь? о смерти всеу
не говори, мой друг-пиит,
зима, крестьянин торжествует,
а мачта гнётся и скрипит,
но надо жить, не надо песен
ворью, жулью и воронью,
смотри же, мир по-бродски тесен.
и интересен, зуб даю.

пятнадцать лет

памяти А. Ч.

пятнадцать лет. по кругу «три семёрки»,
почти орлы и не боимся порки,
колотим недозрелые понты.
в магнитофоне Цой и «Наутилус»,
и жизнью мы ещё не насладились
до экзистенциальной тошноты.

мы знаем, что судьба не ставит точек,
что у неё вполне понятный почерк:
дорога, дама трэф, казённый дом.
пятнадцать лет. наш век совсем не долог.
стебётся матом будущий филолог
и гильзу забивает агроном.

таможенник, тогда не знавший броду,
тасует через пень свою колоду
и неумело карты раздаёт.
сидят в кругу, пока ещё не биты,
менты и одноклассники бандиты,
и Лёха с погонялом «Бегемот»

(не доктор, не юрист, не вор тем паче,
серьёзен, как по алгебре задача,
его поди попробуй рассмеши)
не пьёт портвейн и не играет в секу –
его в начале будущего века
на Салтовке зарежут алкаши.

Один

*В небесах музыка сочинялась
вечная – на смертные слова.*

Борис Рыжий

будильник в сонном белом шуме
убьёт любое волшебство
проснулся огляделся умер
и не заметил ничего

ни отвратительного крика
ни музыки небесных сфер
Борис бы написал музыки
один хер

* * *

*Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.*

О. Мандельштам

смотришь вперед – непонятное прячется в плотном
дыму,
тают размытыми пятнами книги, тетради, кому
эта бумага останется, отблеск живого ума?
выпьешь чего-нибудь, пьяница, что там гадать –
полутьма
вяжет набитой оскоминой музыку джазовых сфер.
что же ты, маешься, сломанный, гипсовый ты пионер,
с горном и главной дорогою, что, как извёстка, светла.
мысли бегут босоногие, несть горемычным числа.
глохнет беспечно прохлопанный доброго времени гул,
верно ты считывал стопы, но в дудку дешёвую дул.
ладно, чего там. налей ещё, что ни случилось – твоё,
всё вам, поэтам стареющим, горькое это нытьё,
что твоих мыслей верчение, давний
бессмысленный труд
против того откровения, детского злого прозрения,
что человеки умрут

герой

прощай, прекрасная эпоха,
трава, портвейн,
где Витька жив ещё, и Лёха,
и Курт Кобейн,

на «барабашке» нет базара,
а есть метро,
и мы прогуливаем пары,
и всё добро –

в руках. герой из фильма с Цоем
уходит вдаль,
цыганы шумною толпою
сбивают шмаль,

над веком не сгустились тучи,
пестры миры...
но время движется скрипуче
в тартарары.

ça va?

нам говорят, что жизнь игра,
травы, дрова среди двора,
упрямый чёт, пугливый нечет,
жизнь удивительно мудра,
пока не бьёт и не калечит.

до середины их Днепра,
физкульт, как водится, ура,
плывут джеромы ка джеромы,
жизнь отвратительно щедро
и не скупится на обломы.

а мы лежим, в дрова трезвы,
среди рыжеющей травы,
Бодлер, спасибо за эпитет,
плакун-, разрыв-, прострел-братвы
не знает чёрт и бог не видит.

невыносима синева,
Москва, Тува, Литва, Нева,
смотри, любуйся, человеке,
а жизнь кончается – ça va?
и чёрт возьми, но лучше – нёчерт.

морской бой

где же ты, слово гулкое,
стонешь в какой клетки,
тёмными переулками
трудно тебя найти.
шастаю здесь привычно я,
гонит туда-сюда
кровь мою горемычную
огненная вода.

где корабли схоронены,
прячутся где, скажи,
тропы мои, синонимы,
острые, как ножи, –
скажешь едва – и ранен, а
тут же е три – убит,
Шивой танцует в пламени
тающий алфавит.

где же ты мой трёхпалубный,
что ж не идёшь в тетрадь?
муторно, словно жалобу
мне предстоит писать.
тянется несуразное
в поиске слов и тем,
а на задворках разума
спрятан вопрос – зачем.

выдыхаешь

выдыхаешь, пищеварителен, кровеносен,
наблюдаешь в окна, как будто тебе нет дела,
что опять в изменчивый город заглянет осень,
в наготу своей откровенная до предела,

что пойдут таскаться по бабе её стилисты,
то оденут в жёлтое, то приукрасят алым.
выдыхаешь снова, но, глупый, как ни стелись ты,
никогда солдату уже не стать генералом,

потому что осень, её не отменишь, ибо
навсегда, и ты не возьмёшь на любых развалах
подходящей книги, в которой сумел найти бы
то, что ты прочтёшь в откровениях пятипалых

обветшалых листьев, и сам не напишешь толком
(если нет усердия, если совсем лениво)
про осенний свет, что метается по осколкам
улетевших дней, и как сладостно в переливах

наблюдать, как боль отступает от новой боли,
размывает память знакомые лица или
насовсем стирает; про то, что бедны глаголы
(из какого сора, в каком подобрал утиле).

не гони лошадку и дай ей, убогой, роздых,
и о чём ты мыслишь, тростник, трын-трава степная?
набираешь в лёгкие влажный осенний воздух
и потом опять расслабляешься, выдыхая

* * *

летят в корзину смятые листы
но отчего-то безмятежен ты
в период мелового листопада
как будто чья-то добрая рука
берёт себе ненужного щенка
и никого топить уже не надо

Барнаул

просыпаюсь на днях от настойчивого звонка,
у двери почтальон, телеграмма издалека:
«прилечу барнаульским девятого тэчека».
не пойму, ожидалось логичное зэпэтэ
и хотя б в двух словах небольшое моралите,
но ни слова и, как предварительный взвод курка,
тэ че ка.

на девятое я на работе беру отгул,
а девятого утром у двери сажусь на стул,
одинок, бесполезен, беспомощен и сутул.
каруселятся мысли тревожные и опять,
барнаулятся баром на улице, мне бы знать,
из какой пустоты, из какой глубины вспорхнул
Барнаул.

за окном с полвосьмого нещадно ревьёт мопед,
полдесятого, десять, одиннадцать, а в обед
открывается истина, что Барнаула нет,
ни Монголии Внутренней / Питера / Волочка,
ни меня, ни двери, ни настойчивого звонка,
отворяю тяжёлую дверь, выхожу на свет
и привет

тепловой удар

вот так бреду, бывало, поутру
в могильную крошечную дыру,
пока асфальт чертями не растоплен...
...а в голове – восточный колорит –
базар, кальян и чародей Бахыт,
и вдалеке пронзительные вопли

про то, что он ни в чём не виноват,
про дивный город, благодатный сад,
эдемские утерянные кущи;
вот так игла царапает винил,
и кажется, что здесь я проходил
как минимум все восемь предыдущих

и всё забыл, и это я кричу
царям, героям, господу, врачу,
глазам, рукам, раздвоенным копытам
про то, что жребий брошен, перейдён
непроходимый прежде Ахерон...
...и я увяз, и тянется гудрон
за мною, словно строчка из Бахыта

* * *

Среди садов деревья гнутся долу...

А.К. Толстой

нет-нет да и посмотришь за окно,
в саду деревья молча гнутся долу,
металлофон дождя выводит соло,
бездомный пёс насквозь промок давно.
и под зонтом, рассеянно блуждающ,
идёт за молоком млекопитающ.

потом, приняв чего-нибудь на грудь,
ленив и, словно ртуть, перетекаем,
ты наградишь себя довольным лаем,
позвав собаку съесть чего-нибудь,
и, потрепав по холке кабысдоха,
расскажешь псу, что всё не так и плохо.

к столу вернёшься, выдумаешь вмиг,
как тридцать лет назад, ещё ничейна,
в такой же день с бутылкою портвейна,
подняв на куртке дерзкий воротник,
к тебе, тогда глупцу и тунеядцу,
она пришла навеки попрощаться.

напишешь, что молчали вы вдвоём,
давно употребив портвейн креплёный,
воспоминаний полон, удивлённо
следил за вами звёздный водоём...
...и трижды руки вымоешь от скуки,
и сядешь ждать, когда вернутся внуки.

зо йетцт кэн

x, yp-si-lon, z, juchhe!
So, jetzt ken`ich das Abc!

Немецкая алфавитная песенка

про эти «зо йетцт кэн» и «а бэ цэ»
ты пел за партой на уроках дойча,
был год восьмидесятый пятикольчат,
и где-то в бело-розовом венце
там коммунизм мерещился в конце.

потом пришли другие времена,
с голодным взглядом тронулась эпоха,
переживала всех, кому не похер,
а остальным твердит: «Идите на»,
и с липкой морды капает слюна.

а ты стоишь по яйца в той слюне
и смотришь вверх, тупой, как питекантроп,
и повторяешь зо йетцт кэн как мантру,
чтоб добрый бог в небесной вышине
вернул восьмидесятый год стране.

и слышит бог, и говорит в ответ:
«я зуб даю и слово комсомольца»,
летят по небу огненные кольца,
их пять, и, обещанием согрет,
ты прыгаешь в инверсионный след.

и говоришь, и думаешь, и знаешь

и говоришь, что в общем-то не злой,
что виноват текущий кайнозой,
колки, что не подтянуты на нервах,
и кое-кто с веслом/ведром/шестом
тебя сожрал за блядство на шестом
и отрыгнул на улицу на первом

и думаешь упорно об одном,
что всё вокруг не может быть не сном,
но это не оправдывает яви,
ведь жизнь уже чернеет вдалеке,
и что бы ни было на языке,
но с бодуна во рту песок и гравий

и знаешь, что причин особых нет
молчать на весь окрестный белый свет,
но тянешься не к слову, а к пробелу,
и слышно до шестого этажа,
как очень нестерильная душа
тревожит одноразовое тело

апостроф

когда ты на одной седьмой
от тропов жизненных немой
бредёшь не в сан-тропе
милан не мил парит париж
а ты идёшь бежишь летишь
фанерой дээспэ

когда безмолвен и бескрыл
и никому ты не омыл
двусложную стопу
когда снаружи и внутри
съедают слоги ноябри
и пусто пусто пу

когда разведены мосты
огонь супруги и спирты
когда ты поллитров
когда прямая речь крива
но над тобой висят слова
дамоклов апостроф

когда кранты когда цейтнот
когда не даст на третий год
смоковница плода
когда стихи и снег и ночь
а жил ты или вышел прочь
когда когда когда

посмотри

посмотри на себя, переполненный пустобрёх,
подавляющий вздох, собирающий в тексте блох,
не в кичливой Варшаве, а где-то в глухой Полтаве.
уродился бы правильным, длил бы свой век, как все,
доживал в старорусски возвышенной полосе
и не думал о том, на кого это всё оставить.

где любая строка отсылает к началу, где
озорная река убегает к морской воде,
к материнской солёной груди прикасаясь устьем,
где отчества дым, где не курят других дымов,
ты сидишь у воды, бесполезен и безголов,
созерцаешь круги, беспричинно и странно грустен.

оттого ли тебе тяжело во всю грудь вздохнуть,
что слова поднимают со дна грязевую муть
и такую тоску, что во сне не бывает выше,
оттого ли, что время – пророщенное зерно –
у пространства берёт конопляное полотно
и размашисто самое верное слово пишет.

бабы

*Катилась жизнь бездарно, бестолково,
Надежды превращая в миражи...*

Алексей Журавлёв. Слово

я снимал полдома у бабы Веры,
отмечал крестом аккуратно двери,
в темноте калитку найти навскидку –
что в иголку всунуть верблюжью нитку.
я ушёл к метро от слепой мегеры,
мне теперь светло и без бабы Веры.

мне сдавала комнату баба Надя,
говорила мне, что она внакладе,
подтекает крыша, гниют стропила,
и ещё про компас земной твердила.
но в моём бюджете была прореха,
миражи приелись, и я уехал.

мне достался угол у бабы Любы,
(накладные груди, большие губы),
и, хотя я весело хулиганил,
было жёстко (это не о диване).
а когда вернулся домой без стука,
то тогда узнал я, что Люба – сука.

и теперь живу на чужом балконе –
говорят, неплохо у бабы Сони.

* * *

ну а есть ли он, изначальный свет?
так застынешь с мыслью о том, что нет,
не ведя учёт холостым минутам.
неземная истина так проста –
там такая чёрная пустота,
представляешь, друг, каково Ему там,

где глухая тишь да немая гладь,
без судьбы и времени куковать,
не творить вселенные от азов, но
с козержим медным рожком в руках
выпасать на горних густых лугах
золотых тельцов, серебристых овнов

и ловить с моста изумрудных рыб
на господне благодное цып-цып,
и меня, карасика-дуралея,
зацепив крючками за две ноздри,
обучать сопеть с пустотой внутри,
ни о чём исчезнувшем не жалея

слова и числа

сегодня сыро, я совсем продрог,
налей мне, овен, полный козерог,
зови тельца и выпьем для сугреву,
среди миров, в мерцании светил,
я никогда с созвездием не пил,
давай за деву.

вокруг меня стоят одни слова,
они мне начисляют год за два,
стрелец и лев, держите оборону,
иначе до утра писать свою
галиматью – пока я с вами пью,
меня не тронут.

исхода нет, слова мертвы, увы,
следят глаза с горгоньей головы,
спокойно, не свистите, раки, ибо
пока я здесь не сдох и не воскрес,
не лучше ль, глядя сквозь стекло небес,
молчать как рыбы.

тополиный пух

когда неуёмная вита совсем не долече,
в какие одежды её ты ни облачай,
когда ты решился немедленно с ней покончить,
но только способен рассыпать на кухне чай,

когда беззастенчиво суетный мир кружится
вокруг ускокавшей от всадника головы,
тогда ты, с похмелья напившийся из копытца,
ревёшь троекратным: «увы мне, увy, увy...»

и вот, у судьбы заблудившийся под ногами,
ты смотришь наверх, на источник твоих обид...
а небо с овчинку. и валится шерсть клоками
с паршивой овцы. и не тает. летит.

летит.

соглядатай

а назад посмотришь – какие были
времена, да все выходили вон.
проезжают мимо автомобили –
то ли белый шум, то ли грай ворон.
что брехать собакою? неспроста я,
словно тот великий немой, неметь
начинаю – патиной обрастает
для чеканки слов листовая медь.
то ли все под старость агорафобы,
то ли мне, несмелому, не до звёзд
молчаливых. втайне мечтаю, хоть бы
пронесла комета лохматый хвост,
чтоб шутиху эту досужий кто-то
записал бы в знамений череду,
и сказали б ушлые звездочёты,
что в порожнем веке, в пустом году
прилетит опять ледяное чудо
и пойдёт обратный отсчёт времён...
но пустынно в небе моём покуда –
ледяная бездна со всех сторон
обступает. так холодает к ночи,
на деревьях с севера сохнет мох,
и сверчок тревожно во тьме стрекочет –
соглядатай, счётчик, подельник, бог.

кентавр

не привлекался, не состоял,
а в школе на «будь готов»
твердил – болгарский курю опал,
но буду всегда здоров,
врагов не нажил, забыл друзей,
курю молодой бамбук,
седой потрепанный книгочей,
давно запутавшийся, ничей,
ценитель бесцветных букв

вот так живу – то мусолю плешь,
то множу печаль на два,
виню винительный свой падеж
из чистого плутовства,
черна в дурной голове дыра –
пожарный рукав пришей,
и пацаны с моего двора
да вся советская детвора
в войнушку играют в ней

и всё как будто бы да, но нет,
а если и да – не то,
и сам я кто – заурядный дед
пихто, полуконь в пальто,
очки надену, пойду смотреть,
как суетный мир живуч –
дома в сугробах стоят на треть,
но в уголь нóчи вплавляет медь
несмелый, но острый луч

я сам несмел, потому что стар
(поэт бы сказал – зане),
безумца спящего аватар,
а лягу в кровать, так мне
приснится – в море стоит стена
среди ледовитых плит,
на ней написаны имена –
гиперборейские письма,мена,
похожие на санскрит

пустое дело тебе, шуту,
разгадывать, что есть что,
под сенью вздорных девиц в цвету
ждать Гóдо ещё лет сто,
покуда ястреб живым пером
рисует крути, чудак,
как будто пишет стихи в альбом
по-русски чёрным на голубом,
но непостижимо так

не горюй

хоть налево – теряешь голову
и пиитское плавишь олово,
хоть направо – слова, слова.
говорю – не горюй, убогое,
криворуко-членистоногое,
потому что душа жива,

потому что брести полянами
земляничными, полупьяными,
млечный путь зажимать в горсти.
пусть в грядущее и не веришь, но
мне строку за строкою бережно
в луговые венки плести,

мне кроить, разрезать, отпарывать,
где из меди литое зарево
разливает вину и стыд,
где с глазами, как небо, синими
у витий за худыми спинами
поцелованный сын стоит

меланхолия

да и важно ли, что не останется
кирпичей, говорила Муму,
раз шатается жизнь, словно пьяница,
от чужого стола к своему,
раз достаточно хлеба и соли ей
на пути от взаймы до внаймы,
раз седая моя меланхолия
накрывает пустые холмы.

да и важно ли, что распогодится
посреди октября втихаря
бабьелетняя дочь-второгодница
прошлогоднего календаря,
лишь бы к нам с перелётными птицами
прилетел голубой вертолёт,
лишь бы ночь полыхала зарницами
от далёкой грозы, а не от

тех событий, что в мире, ужаленном
сумасшедшей осою под хвост,
происходят, и мы опечаленно
и тревожно глядим на зюйд-ост.
ничего не храним, да и важно ли,
посмотри, на крыле наконец
эфемерное счастье бумажное –
недокормыш, журавлик, птенец

КЛИНОПИСЬ

пусть эпоха твоя не сменилась,
но разменного времени – нуль.
погребная октябрьская сырость
оттеснила кудрявый июль,
перелётные все улетели,
недолётные будут с тобой.
что печалишься ты, не тебе ли,
буквояд, предназначен любой
из затейливых юсов и ятей,
что готовят осенние дни?
на ночном манускрипте печати
всё ясней и алмазней, взгляни,
улетающий клин исчезает,
но хранится в изломах крыла
двуязычная клинопись стаи,
что когда-то понятна была

питерское

и не знаешь, с какого края
подступиться к стихам, когда
опускается ночь сырая
и тягучая, как вода
между Троицким и Дворцовым,
в темноте разведённых плеч,
где бликует блестящим словом
волновая родная речь.

и не ведаешь, что творится –
словно в чарах разрыв-травы
переписанная столица
в переплёте ночной Невы
для юродивых и поэтов
предлагает своё питьё,
и ликуешь, и пьёшь из света,
и надеешься на неё

НЕ ЭТО

не это, слышите, не это
в душе доверчивой болит,
покуда сталактит сюжета
никчёмной жизни в сталагмит
плюёт с неведомого края,
и капли уходящих дней,
в закате бледном догорая,
всё благородней и нежней

не это, слышите, волнует,
когда в ландшафте городском
не спит поэт, тоску смакуя
вселенским русским языком,
где с миром миф написан слитно,
но даль тяжёлая тускла,
где Хронос, адски ненасытный,
сметает крошки со стола

где звук, на многое согласный,
реки извилистый разрез,
и перевозчик безучастно
стоит с веслом наперевес,
не торопи, Харон, поэта
в ночной всевышний волочёк,
покуда он хранит от ветра
живое слово, дурачок

лодка

придумалась лодка худая, едва расшаталась – каюк,
и держишься, изнемогая,

за время – спасательный круг,
но эта елейная мнимость вредна для меня, анонима

у времени девичья память, оно не запомнит меня,
с его стороны продинамить, кимвалами медно звеня,
не шутка, не труд, не забота, а так, мимолётное что-то

и сам я, увы, не подарок.

но бог с ним, что было – прошло,
смотри – ослепительно-ярок полуденный свет, и весло
скользит по блестящему краю,

о прошлом ни капли не зная

ПАМЯТЬ

просыпаюсь над книгою в час ночной
оттого, что во сне кричал,
так волна, удивляясь себе самой,
разбивается о причал,
так будильник, к утру становясь мудрей,
опускает короткий ус.
ничего не боюсь, говорю, ей-ей,
только смерти во сне боюсь.
выхожу со щитом на чужой балкон –
над Элладой горит звезда,
недосмотренный конь и троянский сон
выползают за мной туда.
нет, увольте меня от таких щедрот,
говорю, выпуская дым,
на ахейской звезде Аполлон плывёт,
я века бы общался с ним.
но пугливый летит по своим делам,
что ему средь небесных сфер
акварельный измученный Мандельштам,
корабли, паруса, Гомер

письма

переболеем

не волнуйся, в этот безмолвный час
вдалеке от суетных звёздных трасс
только снег и степь окружают нас,
отлежимся, переболеем.

посмотри на небо, родная, вот
там река молочная вверх течёт,
и Христос бредёт по разливам вод
между Овном и Водолеем.

и куда ни взглянешь – повсюду бог,
если верить Ницше, он... занемог,
возлежит и стонет, всё ах да ох,
на небесном своём Сионе,

а вот там, под Лирой, певуч и жгуч,
между рваных тряпок опальных туч
разгорелся ярко-зелёный луч –
это мы на Его ладони.

семьдесят восьмая

на смерть поэта

и вот уже отстал, устал, присел,
и не поспел мятущийся пострел,
и вышел в космос, дверь не закрывая.
сик транзит, говорил один Фома,
а дальше ладно, выучи сама,
деталь вполне культурно-бытовая

ты говоришь, что прожил зря, ну вот,
наполни хтонью алчущий живот,
роди соседу сына, три-четыре,
ну хватит о тебе, давай о нём,
его встречает звёздный водоём
с планетами на вечном штрихпунктире

и где-то у серебряных плеяд
теперь летает он ни клят ни мят,
нам это неизвестно априори,
а может, стал он медленной рекой
и на странице семьдесят восьмой
впадает в море

живут

дорогая, тянет туман с низины,
потому и письма пропахли тиной,
и не слышен гул поездов вдали.
а у нас с тобой ничего не будет,
потому что все мы – цепные люди,
даже если суки и кобели.

мы во сне – бессмертные люди-птицы,
перелётны, сказочны, клюволицы,
рождены и брошены в небосвод.
за окном кричит козодой, с болота
в унисон ему подвывает кто-то –
причитает выпь и мурлычет чёрт.

в палестинах наших бесцветно, сыро,
комары к утру проедают дыры,
не спасают дэта и дихлофос.
вспоминаю, как ты тогда витала
в облаках на зависть месяце Шагалу –
бесшабашно, весело, не всерьёз.

дорогая, мы же с тобой могли бы...
сквозь окно в туман уплывают рыбы,
проникают в илистый абсолюте.
я и сам усами чешу чешуйки,
и бросаю письма в огонь буржуйки,
но они живут.

жи ши

мои жи ши круче других жи ши,
они сбегут в шумные камыши,
всего часок листьями пошурши,
а там – Котовский.

но как ни злись, шашкой былёе круша,
а только я помню, моя душа,
о том, что ты ангельски хороша,
почти чертовски.

ты снишься мне, этакому хлыщу,
живёшь тайком в чащах моих чу шу,
и я о том чаще всего грущу
чернильным соком,

что столько лет криво бредут дела,
с тех пор как ты, радостна и мила,
тогда в мою глупую жизнь вошла
и вышла боком.

железнодорожное

Для тех, кто не ложится с краю, пропеты баюшки-баю, а я пишу тебе, родная, и, слово к слову подгоняя, в цемент для крепости плюю. На город мой туман ложится, гудит ближайшая жэ дэ, а где-то мытарь матерится, грустит озябшая блудница, разбойник свищет и тэ дэ.

Но не об этом, не об этом... Не то, не вовремя, не тут... Сигналят поезда дуэтом, где семафоров силуэты и всё измазано в мазут. Когда-нибудь и мы исчезнем в тумане сумрачном, ей-ей, когда в упор посмотрим в бездну в неверных отблесках железнодорожных липких фонарей. Прости за то, что много сплина в эпистоле и в бытии. Как говорила Прозерпина, мои жилые палестины невероятно не мои. А без тебя, скажи на милость, запрятанная по щелям такая гниль, такая сырость, что даже вот строка затмилась и не спасут хорей и ямб. Не отпускают почему-то – считай судьбу на раз-два-три, – в пути наезженным маршрутом хандра, пропахшая мазутом, и фонари, и фонари...

скрипела дверь

скрипела дверь, и ты, душа моя,
тихонько появлялась у порога,
оглядывала пустоту жилья,
свыкаясь с полумраком понемногу.
я ждал тебя, как прежде, по средам,
я ждал тебя, как ждал тогда Адам
вторую производную от бога.

скрипела дверь, и ты входила в дом,
на страже тишины часы стояли,
я поднимался на ноги с трудом,
укутывался плотно в одеяло,
потом садился на увечный стул,
как будто пустоту собой заткнул,
но получалось у меня едва ли.

скрипела дверь в убогую нору,
ты в контражуре медлила в проёме,
а мне в сорокаградусном жару
привиделось в туманной полудрёме –
наш город был совсем опустошён,
а пятый македонский легион
вставал во всеоружии на стрёме.

скрипела дверь, а тени на стене
под звон небесных сфер кружились в вальсе,
корабль летел на бреющем к волне,
меняя ставки, имена и галсы,
и сон о том, что комнаты пусты,
мой сон о том, что существуешь ты,
сбивался.

Клэр

*Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой...*

А.С. Пушкин

покуда рифмы есть обоеполы,
мне о тебе спрягать свои глаголы,
и пусть у них несовершенный вид –
в реальности ничто не совершенно,
так приходи во сне – пустует сцена, –
пока звезда с звездою говорит.

и мне приснятся тени на асфальте,
коньяк и кофе, музыка Вивальди –
шальная флейта, плутовской гобой.
я напишу тебе открытым слогом,
что жизнь была страдательным залогом
неверного свидания с тобой.

из письма

...у нас вода по-прежнему мокра,
всё так же петухи кричат с утра,
трещат по швам сороки и морозы.
один раз в год цветут сады у нас,
один раз в год горбатый пидарас
из Устюга Великого привозит

кому кайло, кому апгрейд весла,
но извиняясь, будто не со зла,
а сам, как чёрт, косит лиловым глазом,
когда заказан полный пансион,
а он приносит штопаный гондон,
поскольку мир смешон и одноразов.

душа моя, не верь карандашу –
опять пиэрквадратное ношу,
по-прежнему квадратное катая...
...мне снятся море, сосны и холмы.
и небо. и на этом фоне мы –
счастливые в прицеле вертухая.

костры

эти рыже-ирландские осени
и зима биполярная ночь
поматросили душу и бросили
даже некому в яму сволочь
не гляди на меня озадаченно
и не пей из подножных копыт
видишь времени молю потраченный
замусоленный опыт лежит

доставай выноси и проветривай
и себя и других веселя
этой шляпой заношенной фетровой
у которой большие поля
огороды сады палисадники
где в сиреновой дымке смотри
пролетают угрюмые всадники
и копыта стучат раз два три

нет четыре как неуловимые
и багровый закат неспроста
засыпай поскорее любимая
только ты у меня и оста
и чем ближе к закату понятнее
и виднее так очи остры
там за линией степь необъятная
и костры

Sermo vulgaris¹

*«Долгие годы писал я стихи и прозу,
Что ностальгия приводит порой к циррозу,
Что меж идущих на смерть кораблей Гомера
Пену сбивает с волны и моя триера,
Что, преисполнен отвагой, иду на Трою,
Как подобает... лирическому герою».*

Я божился любимой – отныне не тревожить на кичке сарынь, не писать ей стихи на латыни, потому что вульгарна латынь, не делить на чужое и наше, не показывать кузькину мать, но такие заваривал каши, что и Гурьеву не расхлебать. Ведь в пределах моей Ойкумены происходит сплошной кавардак. Я хотел, чтоб приснилась Елена – мне приснился матрос Железняк. Подбирая нелепые фразы, безуспешно слова теребя, я хотел объясниться – и разом потерял и её, и себя...

*«Наша любовь – это салочки, прятки, жмурки,
Сказка, в которой всегда не по сивке бурка,
Нечто размытое. Бред. Пустота. Химера,
Всё затянувшая чем-то безумно серым:
То ли тоской по заоблачным горным высям,
То ли золой неотправленных мною писем».*

¹ Sermo vulgaris (лат.) – «вульгарная латынь», разговорная разновидность латинского языка.

физалис

осень идёт к концу, обернёшься – уже зима
держит в своём прицеле нетопленные дома,
гонит к вселенской скорби от светлой печали.
птица по стрелке компаса мечется, клюв задрал,
куцым умом раскинув, что в стае вожак неправ,
зря простужала горло, беспечно кричала

в воздух колючий важное слово – курлы-курлы.
время раздело рощи, деревья стоят светлы,
только лишь я в саду с плутовством гамадрила
то посмотрю на тучи, наморщив угрюмый лоб,
то со злорадством плюну в наметившийся сугроб
в той стороне, в которую ты удалилась.

что ж, улетают все, ну и ты, как всегда, права,
мне б запастись терпением, силы беречь, дрова,
да оборвать у стен позабытый физалис.
ночь в решето прокурена и, как зима, долга,
тихо кукуют ходики. нехотя кочерга
мучает письма, чтобы скорей разгорались.

пиши

выжимается время глоток
по глотку, прости,
что не смог сохранить хоть чуток,
и в моей горсти
пустота – уничтожено сплошь
по штрафной и всклень,
и лекарства мои – это рожь,
виноград, ячмень.

выжимаются соки из дней,
календарных дат,
всё отчётливей сны и видней
козырной расклад,
всё быстрее вращаются там,
в небесах, ковши,
проходи же за мной по пятам
и пиши, пиши

ОТ ЗИМЫ ДО ВЕСНЫ

от моей зимы до твоей весны
все слова осенней тоской больны,
потому с моим лексиконом мы
пять страниц печально молчим вдвоём,
неспроста купирован хвост зимы –
дорожи обрезанным февралём.

от твоей весны до моей зимы
даже снег и тот не возьмёшь взаймы,
хоть сезон под окнами карауль,
хоть зуди плечо и маши рука –
пустота, ничто, абсолютный нуль,
Магомет – строка и гора – строка.

от зимы моей до весны твоей
догорает кипа бумажных дней.
к эпилогу вдруг становясь пустым,
исчезает в пламени Магомет,
а потом красиво уходит в дым,
но никто не смотрит ему вослед.

колыбельная

что ж ты вьёшься, чёрный ворон,
видишь, я не вьюсь давно.
выпьем с кружки, где же горе,
впрочем, вот уже оно.

впрочем, вот уже резвится
чёрный вечер, белый снег,
делят глупую блудницу
с туарегом туарег.

спи, родная, бог не фраер,
а свинья – она не съест,
в каждой человеческой стае,
как известно, люпус эст.

всё нормально, люпус серый
не укусит за бочок.
сплюнуть, что ли, в стратосферу
через левое плечо.

как ни сплуну – попадаю
в санитаря, в главврача...
спи, родная, баю-баю,
ламца-дрица, ча-ча-ча

так не напишешь

но так ничего не напишется,
слова не пойдут в тетрадь,
вороньи бесхвостые ижицы –
ну надо же их считать.
а небо пустое и чистое,
что даже саднит в груди,
вот так и смотрел бы лет триста я,
а может, пятьсот, поди.

срывается капля, подсвечена
закатом, и вот – звенит.
меняться здесь вроде бы нечему –
тут запил бы Гераклит.
стекло паутина осенняя
зашторила абы как.
приди же, моё вдохновение,
пока не закрыт сельмаг.

и вот тяжело с опохмела я
иду протереть окно.
сорока кричит очумелая,
наряжена в домино.
пора отогнать эту шалую,
из фляги глотнув на треть,
но так не напишешь, душа моя,
но так не напишешь ведь.

аорист¹

приснилось: дождь, и целый водоём
на нас из тучи лился, мы вдвоём
под капюшоном.

у нас коньяк и розовый крюшон,
и ты смешна, и я ума лишён,
и хорошо нам.

ну а ещё нам хорошо вдвойне,
что пьём коньяк в плену дождя, а не
глотаем пыль мы
среди дворов-колодцев и дворцов.
я благодарен режиссёру снов,
что сны как фильмы,

что мы одни и капюшон один,
что в драме затянувшийся зачин,
что дождь напорист...
так долгод сон, а память коротка,
и остаётся нам из языка
один аорист.

¹Аорист — временная форма глагола, обозначающая законченное действие, совершённое в прошлом.

ХОЛМЫ

*Надо, конечно, помогать таланту трудом
и питать его размышлением, но ни в коем случае
не гнать в недоступную ему гору...*

Франческо Петрарка

дни пролетают с ретивостью скоростного
поезда, тихо на стыках считаешь такты,
позже сбиваешься с ритма, дурное слово
или тревожная мысль остаётся, так что
времени хватит ну разве что взять пятак
и положить под чугунных колёс тик-так

дёргают ниточки – как их там, Мойры, Парки, –
дёргают, нервы последние вынут скоро,
помнишь, любимая, как там сказал Петрарка
про невозможность подняться таланту в гору?
видишь, родная, среди межфонарной тьмы
что-то мелькает? холмы, говорит, холмы

к словарям

погоди секунду, побудь со мной
промелькнувшей в тёмной воде блесной,
уловись хотя бы негромким словом,
а потом во тьму уходи опять,
в тишину молчать, в глубину сиять,
в плодородный ил, к словарям толковым.

завяжи мне память на узелок,
чтобы вспомнить я ничего не смог,
ожидая блеска в речном затоне.
не храни ни писем, ни снов, ни книг,
здесь не я – мой сумеречный двойник
проницает время/пространство оно.

и в его глазах холодит луна,
и темна вода сквозь него видна.
засыпает сонный тростник, а мыши
разрезают небо. большой улит
никому во тьму о себе пищит,
но никто в тумане его не слышит.

между строк

*Олень – животное. Воробей – птица.
Россия – наше Отечество. Смерть неизбежна.*

П. Смирновский.
Учебник русской грамматики.

в покорности судьбе пора остановиться,
когда число скорбей превысит свой лимит.
ну что сказать тебе? что курица – не птица,
а птица – воробей, ворюга и бандит;

что будет новый стих и кончится спиртное,
поэты как волхвы – открытая тетрадь,
а между строк у них отечество родное
лежит себе, увы, и лень ему вставать;

что каждый божий день ни друга, ни врага мы
не можем различить в сиамских близнецах,
и мой лесной олень царапать амальгаму
умчится, волчья сыть, на полных парусах,

чтоб в глубине зеркал душа моя зависла,
когда позволит твердь причалить кораблю;
что я тебе писал свои слова и числа;
что неизбежна смерть. и я тебя люблю.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
С облаков вытирая пыль	5

мифы

массаракш!	9
фонарь	10
к северу и к югу	11
лунный цирк	12
пике	13
Гензель	14
Оле Лукойе	15
бетельгейзе	16
«animula vagula, blandula...»	17
свидетели симулякра	18
маис	20
Адам	21
морок	22
одиссея	24
апория	25
Орфей	26
дождь	27
«что любовь не во всём права, но, быть может, верно...»	28
лабух	29
«вот улицы сиреневый размах...»	30
колыбель	32
ископаемый бог	34
магриб	35

круги	36
ануннаки	37
дальше	38
чёрный снег	39
лишний мир	40

слова

не помню	43
слова	44
надо жить	45
пятнадцать лет	46
один	47
«смотришь вперёд – непонятное...»	48
герой	49
ça va?	50
морской бой	51
выдыхаешь	52
«летят в корзину смятые листы...»	53
барнаул	54
тепловой удар	55
«нет-нет да и посмотришь за окно...»	56
зо йетт кэн	57
и говоришь, и думаешь, и знаешь... ..	58
апостроф	59
посмотри	60
бабы	61
«ну а есть ли он, изначальный свет?»	62
слова и числа	63
тополиный пух	64
соглядатай	65

кентавр	66
не горюй	68
меланхолия	69
клинопись	70
питерское	71
не это	72
лодка	73
память	74

письма

переболеем	77
семьдесят восьмая	78
живут	79
жи ши	80
железнодорожное	81
скрипела дверь	82
Клэр	83
из письма	84
костры	85
Sermo vulgaris	86
физалис	87
пиши	88
читай	89
от зимы до весны	90
колыбельная	91
так не напишешь	92
аорист	93
холмы	94
к словарям	95
между строк	96

Литературно-художественное издание

Оберемок Александр Николаевич

СЛОВА И ЧИСЛА

Стихи

Публикуется в авторской редакции

Оригинал-макет: О.Г. Томусяк

Обложка: Н.М. Сысоева

Выпускающий редактор: Ю.В. Ивахненко

Подписано в печать 28.08.2023. Формат 84×108/32

Гарнитура Georgia. Усл. п. л. 6,3. Тираж 300 экз.

Заказ 172